

Н.Н. Страхов

Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского.

Издание исправленное. Два тома.

Санкт-Петербург, 1867

Один «критик» — так обыкновенно пишут в газетах, желающих сохранить вполне приличный литературный тон, откуда следует, что ради благопристойности нам должно признать существование у нас великого множества критиков, — итак, один критик сказал о романе г. Достоевского следующее:

«Уничтожьте только тот оригинальный мотив убийства, в силу которого Раскольников видит в убийстве не гнусное преступление, а «поправление» и «направление» природы, некоторым образом подвиг; мало того; сделайте такой взгляд на убийство только личным, индивидуальным убеждением одного Раскольникова, а не общим убеждением целой студентской корпорации, всякий интерес в романе г. Достоевского немедленно пропадет. Это ясно показывает, что основу романа г. Достоевского составляет предположенное им или принятое за данный факт — существующее в студентской корпорации покушение на убийство с грабежом, существующее в качестве принципа».

Затем критик довольно хладнокровно предается некоторой горячности:

«Какою, — говорит он, — разумною целью может быть оправдано изображение молодого юноши, студента, в качестве убийцы, мотивирование этого убийства научными убеждениями и, наконец, распространение этих убеждений на целую студентскую корпорацию».

Эта критика напечатана, и слова, которые мы привели, имеют совершенно ясный смысл. В романе г. Достоевского, сказано, целая студентская корпорация обвиняется в том, что она исповедует как принцип невинность убийства с грабежом,

даже в том, что в ней существует уже самое покушение на такое убийство.

Первая мысль, которая может прийти здесь в голову разумному читателю, конечно, будет та, что все это нелепость, на которую не стоит обращать никакого внимания. Разве можно обвинять всех студентов поголовно не только в покушении на убийство, а в чем бы то ни было? Нужно вовсе лишиться здравого смысла, для того чтобы сделать такое нелепое обвинение. И далее — если бы кто и сделал подобное обвинение, то разве оно могло бы иметь хотя малейшее значение. Разве обратил бы на него внимание хоть единый студент? О подобной глупости не стоило бы вовсе и говорить.

Клевета на студентов была бы ужасная, если бы только она была возможна. Клевета на г. Достоевского была бы тоже ужасная, если бы и она была возможна. И выходит — все вздор, не стоящий внимания.

К сожалению, дело так просто не развязывается. Критик, мнение которого мы привели, вероятно, высказал свою искреннюю мысль. Если же он говорил неискренно, то говорил для тех, которые могут искренно питать подобные мысли. Только нет сомнения, что у нас найдется множество людей, которые или поверят критику, или сами доберутся до подобного взгляда на дело. Нет такой нелепости, которая не нашла бы себе защитников вопреки всякой очевидности. У нас же — мы должны это помнить — тьма, глубокая тьма царит над умами; у нас нет для суждений твердых, ясных точек опоры; мы до сих пор не умеем понимать широко и тонко и потому все перетолковываем, все прикидываем на узкие мерки кой-каких понятий, нахватанных нами из хаоса чужих мнений. Можно бы привести немало примеров нелепейших обвинений, которые основывались на недоразумениях или даже на прямой клевете и, однако, имели большой ход в нашей читающей публике.

В суждении же нашего критика для многих и не найдется ничего особенно нелепого. Положим, нам скажут, что кто-нибудь ретроград, враг молодого поколения, враг науки и просвещения; что же. Ведь у нас такие люди есть, хотя бы и

в малом количестве; а главное, у нас есть множество людей, которые считаются такими, о которых составилось и незыблемо утвердилось такое противоестественное понятие. Отчего же нельзя причислить к таким людям и нашего романиста. Далее, положим, нам скажут, что кто-нибудь считает все молодое поколение нигилистами, поджигателями, убийцами, готовыми из-за денег отца родного зарезать; что же. Ведь у нас есть нелепые люди, которые держатся таких или подобных мнений; а главное, у нас есть множество людей, которым такие мнения приписываются, которым ни за что не поверят, если они станут уверять, что думают совершенно иначе. Отчего же нельзя сказать, что таким-то людям и хотел угодить г. Достоевский.

Итак, и в силу некоторой действительности, и, главное, в силу преувеличенных и искаженных понятий о состоянии общественного мнения, обвинение г. Достоевского становится возможным. Есть люди и кружки, для которых оно имеет полную силу.

Если же кто нам не поверит на основании вышеприведенных соображений, то мы в настоящем случае можем привести факты, которые тоже взяты будут с печатного. Беда еще небольшая, если человека обвиняют: на всякое чиханье не наздравствуешься. Но беда становится действительною, когда обвинение принимается и не раздается ни одного голоса в защиту. Наконец, всего хуже бывает тогда, когда являются усердные защитники, но по их словам видно, что и они вполне признают виновность обвиненного и стараются только адвокатскими уловками отвести глаза публике. Такая участь довелась г. Достоевскому.

Явился другой «критик», который стал защищать г. Достоевского против первого критика. Он почел своим долгом, как он выражается, «снять обвинение с писателя честного»; он старается доказать, «что нет никакого повода думать, чтобы автор хотел кого-нибудь оклеветать, хотел навязать молодежи поголовное стремление к убийству с грабежом, как выразился один критик в начале прошлого года».

Доказательство очень просто. «Раскольников – больной человек» – вот в чем вся разгадка. «Он – вполне сумасшедший человек, потому что предметы постоянно представляются ему с одной стороны; эту сторону он анализирует здраво, другая совсем у него ускользает; для этой стороны от него нет разума, он умер, задавлен всепоглотившею идеей. Эта идея об убийстве так же повернула ему голову, как повертывает голову всякая другая идея, сводящая человека с ума. Один вообразит себя Фердинандом VII, другой вообразит себе, что весь род человеческий преследует его, весь занят только тем, чтобы стереть его с лица земли. Раскольников вообразил себе, что убийство ради тех целей, которые он признавал благородными, – вовсе не преступление».

Вот, между прочим, маленькое доказательство такого взгляда на дело. «Сумасшествие, – говорит критик, – проходит иногда вследствие сильных нравственных потрясений, иногда даже вследствие крутой болезни. То же делается и с Раскольниковым. Он вынес в каторге сильную болезнь». В романе рассказывается, что после этой болезни выздоравливающий Раскольников вдруг почувствовал сильный порыв любви к Соне. «В нем проснулись, – пишет критик, – давно подавленные инстинкты, он разом понял и Соню, которая следовала за ним на каторгу, и глубоко полюбил ее. Он, одним словом, выздоровел (подразумевается: от сумасшествия). Он воскрес, – говорит автор, – что, очевидно, одно и то же».

Итак, г. Достоевский написал нам историю некоторого сумасшествия. Если так, то, конечно, нельзя думать, что «он хотел опозорить молодое поколение своим Раскольниковым».

«Раскольников, – последовательно выводит критик, – вовсе не тип, не воплощение какого-нибудь направления, какого-нибудь склада мыслей, усвоенных множеством». И далее: «Раскольников, как явление болезненное, подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике».

А как же быть с тем учением, которое Раскольников так настоятельно исповедует, так последовательно развивает? Как

быть с теми совершенно отчетливыми и связными мыслями, которыми он даже в каторге оправдывает свои убийства? Вот как объясняет дело критик:

«Нельзя объяснить преступления Раскольникова материализмом, потому что этот материализм, это неверие – в нем тоже напуск, скорее следствие *idée fixe*, чем последняя могла быть следствием материализма; с выздоровлением, с любовью и материализм проходит у Раскольникова, и вера начинает прокрадываться в его сердце».

Итак, вот до какой степени неповинен г. Достоевский относительно нашего молодого поколения. Даже материализм и неверие – эти явления, обыкновенно не предполагающие какого-либо расстройства умственных способностей, – он приписал выведенному им в романе юноше только под условием помешательства.

Как понять подобное, почти невероятное, извращение смысла романа? Не обвинить ли в нем самый роман? Может быть, он так неясен, так дурно выполняет избранную задачу, что легко было ошибиться в его идее? Отчасти, конечно, так; есть в романе значительные недостатки, которые мешают художественной ясности образов, а следовательно, и препятствуют их ясному пониманию. Например, при вполне твердой, вполне отчетливой манере писать лица нельзя было бы так легко причислить Раскольникова к сумасшедшим. Но это составляет только сотую долю в объяснении всего дела. Раскольников нарисован все-таки так ясно и отчетливо, что не будь других причин, никто не счел бы его расстроенным в уме, кроме людей, очень грубо понимающих вещи. Главная же причина, по которой критик решился на превратное толкование романа, очевидно, заключается в том, что он боялся прямого толкования. Он боялся, что прямой смысл романа составляет обвинение молодого поколения «в поголовном стремлении к убийству с грабежом». Он боялся и за молодое поколение, и за г. Достоевского и, следовательно, верил в возможность обвинений, которые нам показались такими нелепыми.

Факт – замечательный для показания нашего умственного строя, и мы надеемся, г. критик извинит нас, что мы воспользовались его словами для изображения этого факта.

Спрашивается, чего же он боялся? Насколько в действительности он был прав в своих опасениях? Насколько эти опасения оправдывались истинным смыслом романа? Если вникнуть в дело, то невозможно будет воздержаться от величайшего изумления перед тем, как трудно у нас понимаются самые ясные вещи.

Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются в наших романах и повестях. Как же они в них изображаются? Стоит только вспомнить об этих картинах, чтобы без всякого колебания отвечать на этот вопрос. Читатели привыкли видеть в нигилистах, во-первых, людей скудоумных и скудо-сердечных, людей, лишенных ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строят собственным умом теории, совершенно оторванные от жизни, доходящие до величайших нелепостей. На основании этих теорий они извращают свою и чужую жизнь и живут в этом извращении, не понимая и не чувствуя всего безобразия такой жизни. Поэтому нигилисты являются нам существами смешными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. Словом, они изображаются так, что по самой сущности дела могут возбудить не симпатию, а только насмешку и негодование. Посмотрите, для примера, в каком зверообразии выставлен некоторый нигилист в повести «Поветрие» («Всемирный труд», № 2). Да и вообще, каких только гадостей, каких безобразий не было приписываемо нашим нигилистам!

Что же сделал г. Достоевский? Он, очевидно, взял задачу сколь возможно глубже, задачу более трудную, чем осмеивание безобразий натур пустых и малокровных. Его Раскольников хотя страдает юношеским малодушием и эгоизмом, но представляет нам человека с задатками твердого ума и теплого сердца. Это не фразер без крови и нервов, это – настоящий человек. Этот юный человек тоже строит теорию, но теорию, которая, именно в силу его большей жизненности и большей силы

ума, *гораздо глубже и окончательнее противоречит жизни*, чем, например, теория об обиде, наносимой даме целованием ее руки, или другие подобные. В угоду своей теории он также ломает свою жизнь; но он не впадает в смешное безобразие и нелепости; он совершает страшное дело, преступление. Вместо комических явлений перед нами совершается трагическое, то есть явление более человеческое, достойное участия, а не одного смеха и негодования. Затем разрыв с жизнью, в силу самой своей глубины, возбуждает страшную реакцию в душе юноши. Между тем как прочие нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не целуя рук у своих дам и не подавая им салопов, и даже гордясь этим, Раскольников не выносит того отрицания инстинктов человеческой души, которое довело его до преступления, и идет в каторгу. Там, после долгих лет испытаний, он, вероятно, обновится и станет вполне человеком, то есть теплою, живую человеческою душою.

Итак, автор взял натуру более глубокую, приписал ей более глубокое уклонение от жизни, чем другие писатели, касавшиеся нигилизма. Цель его была – изобразить страдания, которые терпит живой человек, дойдя до такого разрыва с жизнью. Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это – плач над ним. Несчастный убийца-теоретик, этот *честный убийца*, если можно только сопоставить эти два слова, выходит тысячекратно несчастнее простых убийц. Ему было бы несравненно легче, если бы он совершил убийство из гнева, из мщения, из ревности, из корысти, из каких хотите *житейских* побуждений, но не из теории.

«Знаешь, Соня, – говорит сам Раскольников, – если б только я зарезал из того, что голоден был – то я бы теперь... *счастлив был!*» (т. II, стр. 219).

С невыразимым мучением он чувствует, что насилие, совершенное им над своею нравственною природою, составляет больший грех, чем самый акт убийства. Оно-то и есть настоящее преступление.

«Разве я старушонку убил? — говорит он Соне. — Я себя убил, а не старушонку. Так-таки разом и ухлопал себя навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я...» (т. II, стр. 228).

В этом заключается смысл романа, и приговор над Раскольниковым, произносимый автором, вложен им в уста Сони.

«— *Что вы, что вы над собой сделали!* — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

— *Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!* — воскликнула она, как в исступлении, не слыжав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике» (т. II, стр. 215).

Итак, в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий. Свойство *широкой симпатии*, которое мы приписали автору, и здесь, очевидно, воодушевляло его. Он изобразил нам нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием. По своему всегдашнему обычаю, он представил нам *человека* в самом убийце, как умел отыскать *людей* и во всех блудницах, пьяницах и других жалких лицах, которыми обставил своего героя.

Автор взял нигилизм в самом крайнем его развитии, в той точке, дальше которой уже почти некуда идти. Но заметим, что сущность каждого явления всегда обнаруживается не в его обыкновенных ходячих формах, а именно в крайних высших ступенях развития. Здесь, очевидно, взявши крайнюю форму, автор получил возможность стать к целому явлению в совершенно правильные отношения, в те отношения, в которые трудно стать к другим формам того же явления. Возьмем, например, Базарова (в «Отцах и детях» Тургенева), первого нигилиста, явившегося в нашей литературе. Этот высокомерный, самолюбивый человек скорее отталкивает, чем привлекает. Да он и не просит нашего сочувствия, он самодоволен. Пусть читатель переберет потом все хорошо знакомые ему формы

нигилизма. Молодая девушка обрезывает свою великолепную косу и надевает синие очки. Со стороны безобразно, а между тем она очень довольна собою, как будто надела наряд красивее того, который прежде носила. Она бросает романы и читает «Физиологию обыденной жизни» Льюиса. Сначала она запинаятся, но делает над собою усилие и принимается свободно толковать о пятнах и мочевых органах. Что же? Ощущается новое удовольствие. Пойдем далее – девушка уходит от родителей и совершенно *теоретически* отдается некоторому юноше, чуждому предрассудков и толкующему ей о необходимости завести на каком-нибудь необитаемом острове новое человечество. Или бывает иначе. Брат девушки сам устраивает ее гражданский брак с своим приятелем. Точно так же на основании теории муж бросает жену, жена мужа или устраивается коммуна, в которой случается, что один мужчина имеет связь с двумя женщинами, красноречиво проповедуя им, что ревность – фальшивое чувство.

И что же? Вся эта ломка самих себя, все это искажение жизни совершается совершенно хладнокровно. Все довольны и счастливы, смотрят на себя с великим уважением и гонят от себя всякие нелепые чувства, мешающие людям идти по пути прогресса. Спрашивается, каким же образом можно отнестись к этим людям? Всего легче смеяться над ними и презирать их. Так как они сами упорно выдают себя за каких-то счастливцев, то общество не чувствует в себе никакого позова пожалеть их – скорее оно бывает расположено видеть в этом бесстрастном и холодном коверканье своей и чужой жизни присутствие каких-нибудь темных страстей, например сластолюбия.

Между тем, в сущности, ведь их следует пожалеть. Ведь нет никакого сомнения, что душа у них все-таки просыпается с своими вечными требованиями. Притом не все же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, в которых эта ломка своей природы отзовется долгими, неизгладимыми страданиями. И следовательно, ко всем им, ко всей этой сфере кажущихся счастливцев, устраивающих свою жизнь на новых основаниях, можно обратиться со словами любящей Сони: *что вы, что вы над собою сделали?*

От девушки, из теории обстригающей себе косу, до Раскольникова, из теории убивающего старуху, расстояние велико, но все-таки это явления однородные. Ведь и косы жалко, так как же не пожалеть погубившего себя Раскольникова? Сожаление — вот то отношение, в которое автор стал к нигилизму, — отношение почти новое, а в такой силе, в какой оно здесь является, никем еще не развитое.

Но если так, то как же могло случиться, что автора обвинили в каком-то желании опозорить наше молодое поколение, поголовно обвинить его в покушениях на убийство? Случилось это именно в силу нового отношения к делу, отношения, которого сразу не могли понять. Все привыкли к старому отношению, всем известно, что нигилисты и нигилистки бросают своих родных, теряют своих жен, лишаются своих кос и своей девичьей чести и т. д. не только без горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже с гордостью и торжеством. И вот в романе Достоевского многим мерещится точно такое же изображение, то есть как будто некто совершает убийство, *считая себя правым* и, следовательно, хладнокровно и оставаясь вполне спокойным. Так, вероятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайные убийства. От этого-то такие поджоги и убийства и могли быть весьма часты, могли совершаться множеством людей. Есть ли же что-нибудь подобное в романе г. Достоевского? Вся сущность романа заключается в том, что Раскольников хотя и считает себя правым, но совершает свое дело не хладнокровно, и не только не остается спокойным, а подвергается жестоким мукам. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступление из теории несравненно тяжелее для преступника, чем всякое другое, что душа человеческая менее всего может выносить подобное уклонение от своих вечных законов. И следовательно, если бы случилось, что нигилист оказался преступником, то всего вернее предполагать, что и он, подобно прочим людям, совершил преступление из мести, ревности, корысти и пр., а не из теории. Одним словом, черта, которую взял г. Достоевский, изображена им вполне верно. Читая роман, вы чувствуете, что преступление Раскольникова есть явление *необычайно редкое*, есть случай в высокой

степени характеристический, но исключительный, совершенно выходящий из ряда вон.

Так говорит о нем сам преступник. Он нигде не выдает свою *теорию* за что-нибудь общераспространенное; он постоянно называет ее *своею* теориею, *своею* идеею; в минуты, когда он находится под властью этой идеи, он даже с презрением отзывается о других нигилистах. «О, отрицатели и мудрецы в пяточок серебра, — восклицает он, — зачем вы останавливаетесь на полдороге!» (т. II, стр. 424).

Нужно всегда помнить, что жизнь, натура останавливает нигилистов, как и других людей, не только на *полдороге*, но даже и на *первом шаге* какой-нибудь дороги, да притом, что и дороги у них бывают различные. Это сопротивление жизни, этот ее отпор против власти теорий и фантазий потрясающим образом представлены г. Достоевским. Показать, как в душе человека борется жизнь и теория, показать эту схватку на том случае, где она доходит до высшей степени силы, и показать, что победа осталась за жизнью — такова была задача романа.

То же самое нужно, конечно, отнести и к другим явлениям, ко всем бесчисленным формам столкновения теории с жизнью. Везде жизнь останавливает противное ей движение, везде успешно борется с насилием, которое над нею делают. Есть, например, женщины, усвоившие себе бесцеремонный мужской тон; но их очень немного. Другие, как ни стараются, а все запнутся, когда заведут речь о регулах или мочевых органах. Казалось бы, чего проще, как то, что называется *гражданским браком*. Между тем этот брак, как и все другие безобразия, составляет лишь исключение. Обыкновенно нигилисты и нигилистки преспокойно венчаются в церквах, подобно другим смертным. Большая свобода в обращении, которую позволили себе молодые люди под влиянием нигилизма, повела, как известно, к заключению множества супружеств, столь же чистых и, может быть, более счастливых, чем иные браки, в которых нигилизм не принимал никакого участия.

Итак, никакой разумный человек, понимающий, как идут дела в жизни, не поверит в этом случае никаким повальным обвинениям, если бы они и раздавались. Всего же менее можно

извлечь повальное обвинение из романа г. Достоевского; это было бы во сто раз нелепее, чем, например, извлечь из «Отелло» Шекспира, что все ревнивые мужья убивают своих жен, или из «Моцарта и Сальери» Пушкина, что все завистники отравляют своих даровитых приятелей.

Докажем теперь выписками из романа, что наша постановка дела совершенно правильна. Что Раскольников не сумасшедший, это даже странно доказывать. В самом романе лица, близкие к Раскольникову, видя его мучения и не понимая источников того странного поведения, к которому его приводят внутренние терзания, начинают подозревать, не сходит ли он с ума. Но потом загадка разрешается. Открывается дело *несравненно менее вероятное*, именно, что он не *сумасшедший, а преступник*.

Роман написан объективной манерою, при которой, автор не говорит в отвлеченных выражениях об уме, характере своих героев, а прямо заставляет их действовать, мыслить и чувствовать. Раскольникова же, как главное действующее лицо, автор в особенности почти ни в чем не характеризует от себя; но везде Раскольников является человеком с задатками ясного ума, твердого характера, благородного сердца. Таков он во всех других поступках, кроме своего преступления. Так на него смотрят и остальные действующие лица, над которыми, *по своим возможностям*, он очевидно возвышается. Вот как отзывается о Раскольникове следователь Порфирий, отзывается ему в глаза:

«Понимаю я, каково все это перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому! Я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаю-с и даже с зачатками великодушия-с...» (т. II, стр. 276).

Даже само страшное дело, совершенное Раскольниковым, для людей, коротко его узнавших, указывает на силу души, хотя извращенную и заблудшуюся.

«Вышло-то подло, это правда, — продолжает тот же Порфирий, — да вы-то все-таки не безнадежный подлец! Совсем не

такой подлец! По крайней мере долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел. Я ведь вас за кого почитаю. Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей — если только веру или бога найдет. Ну, и найдите, и будете жить» (т. II, стр. 291).

Автор, очевидно, хотел представить крепкую душу, человека, исполненного жизни, а не слабосильного и помешанного. Тайна авторских желаний в особенности ясно открывается в словах, вложенных им в уста Свидригайлова. Свидригайлов объясняет сестре Раскольникова поступок ее брата и говорит:

«Теперь *все помутилось*, то есть оно и никогда в порядке-то особенном не было. *Русские люди* вообще *широкие* люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда *быть широким без особенной гениальности*. А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговаривали с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина? Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он здесь лежал да свое обдумывал. *У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет*, Авдотья Романовна: разве кто как-нибудь себе по книгам составит... али из летописей что-нибудь выведет. Но ведь это больше ученые и, знаете, в своем роде колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку» (т. II, стр. 343).

Здесь открывается вся дальность замыслов автора. Он хотел изобразить широкую русскую натуру, то есть натуру живучую, мало склонную идти по пробитым, торным колеям жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вместе неопределенную, автор окружил средой, в которой *все помутилось*, в которой *особенно священных преданий* давно уже не существует. Сам Свидригайлов, высказывающий это повальное обвинение против нашего образованного общества (вот оно, то обвинение, которого так искали), представляет нечто в роде старого поколения тех же натур и того же общества, в параллель Раскольникову, члену нового

поколения. Несмотря на фантастичность Свидригайлова, в нем все-таки возможно рассмотреть очень знакомые черты еще недалеко ушедшего от нас состояния нашего образованного и зажиточного сословия. Разврат, жестокость с крепостными, доходящая до смертоубийств, тайные злодеяния и отсутствие всего святого в душе – в эту сторону тоже бросались широкие русские натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы. Раскольников есть тоже человек, которому очень хочется жить, которому поскорее нужен выход, нужно дело. Такие люди не могут оставаться в бездействии; жажда жизни, *какой бы то ни было*, но только сейчас, поскорее, доводит их до нелепостей, до ломки своей души и даже до полной гибели.

В газетах писали, что будто бы Раскольников совершает свое убийство из филантропических целей, что он оправдывает его благотворительными намерениями. Но дело вовсе не так просто. Главный корень, из которого выросло чудовищное намерение Раскольникова, заключается в некоторой теории, которую он неоднократно и последовательно развивает; самое же убийство произошло из неперемennого желания *приложить к делу* свою теорию. Вот как характеризует поступок Раскольникова следователь Порфирий:

«Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда *помутилось сердце человеческое*; когда цитируется фраза, что *кровь* «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут *теоретически раздраженное сердце*; тут видна *решимость на первый шаг*, но решимость особого рода – решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно *не своими ногами пришел*. Дверь за собой забыл приотворить, а убил, двух убил, по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес». «Убил, да за честного человека себя почитает, *людей презирает*, бледным ангелом ходит» (т. II, стр. 285).

В чем же заключается та *теория*, которая так увлекла и замучила этого юношу? В романе она во многих местах излагается подробно и отчетливо; это очень ясная и логически-связная теория. Притом она не поражает чем-либо странным; это не

логика сумасшедшего; напротив, по замечанию Разумихина, «это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали» (т. I, стр. 409).

Эту теорию, как нам кажется, можно свести на три главные точки. *Первая* состоит в очень гордом, презрительном взгляде на людей, основанном на сознании своего умственного превосходства. Раскольников был очень горд в этом отношении. «Иным товарищам его,— говорит автор,— казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее» (т. I, стр. 78).

Из этой гордости рождается презрительный, высокомерный взгляд на людей, как бы отрицание у них прав на человеческое достоинство. Старуха процентщица, для Раскольникова, есть *вошь*, а не человек. Уже долго спустя после преступления, уже тогда, когда он решился донести на себя и вышел с этой целью на улицу, он еще раз испытывает порыв гордости и так выражает свое понимание людей. «Вот они,— говорит он, — снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; *хуже того — идиот*» (т. II, стр. 388).

Второй пункт теории заключается в известном взгляде на ход человеческих дел, на историю; взгляд этот прямо вытекает из презрительного взгляда на людей вообще.

«Я все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы, и коли я *знаю уж наверно, что они глупы*, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труд не стоит терять! Да, это так! Это их закон!.. И теперь я знаю, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. *Кто много посмеет, тот у них и прав*. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось, и так всегда будет! Только слепой не разглядит!»

«— Я догадался тогда, — продолжал он восторженно, — что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо *всей этой нелепости, взять просто запросто все за хвост и стряхнуть к черту!* Я... я захотел *осмелиться*» (т. II, стр. 225).

Читатели, конечно, хорошо знают эти отрицания правды и смысла в истории, тот взгляд на исторические явления, по которому все они происходили от насилия, опиравшегося на заблуждения. Этот взгляд, взгляд *просвещенного деспотизма*, породил на западе Европы огромные революции и до сих пор порождает там людей, которые разрешают себе *все средства*, чтобы изменить ход всемирной истории, которые считают себя вправе домогаться места законодателей и учредителей нового, разумного порядка вещей. Эти люди уже не живут под каким-нибудь авторитетом, потому что сами поставляют себя авторитетом для человечества. Они, подобно Раскольникову, желали бы, если бы могли, «взять все за хвост и стряхнуть к черту». Но эти люди действуют, считая своею целью *благо человечества*, и они имеют дело с историею народов. Поэтому, с одной стороны, их усилия получают характер бескорыстия, самоотвержения, с другой стороны, их деятельность никогда не бывает удачною. История их не слушается и идет *своим* порядком. Глупые народы не понимают того *блага*, которое им предлагают умные люди.

Под влиянием эгоизма молодости Раскольников сделал еще один шаг на пути этих мнений. Этот-то шаг и составляет ту мысль, которая, по его словам, *выдумалась у него одного и которой никто никогда еще не выдумывал*. Таким образом он дошел до третьего и последнего пункта своей теории. Приведем место, где всего ярче высказывается эта мысль.

Раскольников смеется про себя над социалистами:

«За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудлюбивый народ и торговый: *общим счастьем* занима-

ются... Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться *всеобщего счастья*. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что же? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании «всеобщего счастья». «Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца». «Нельзя-с! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я тоже хочу...» (т. I, стр. 426).

И вот Раскольников решился нарушить обыкновенный ход дел и позволить себе всякие средства не для того, чтобы изменить ход всемирной, истории, а для изменения своей личной судьбы и судьбы своих близких. Чего он хотел в этом отношении, он подробно объясняет Соне.

«У матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья... (Он говорил *как будто заученное*). А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенести? Для чего? Для того ли, чтобы, их схоронив, новых нажить — жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну... вот я и решил, завладев старухиними деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, — и сделать это широко, радикально, так, чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать...» (т. II, 222).

Таковы цели, которые имел в виду Раскольников. Но эти цели не составляли прямых побуждений к преступлению. Они могли внушить Раскольникову самые разнообразные усилия; непременное убийство никак логически из них не вытекает.

Напротив, оно строго вытекает из его эгоистической теории. Вот почему тотчас после приведенной речи сам Раскольников начинает говорить, что «это не то», что он «врет, давно уже врет» и пр. Очевидно главное, что его двигало, что распаляло его воображение, было требование приложить свою теорию, *осуществить на деле то, что позволил себе в мысли.*

В другом месте он ясно высказывает это главное побуждение к преступлению.

«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха пожалуй что и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... *я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил!*» (т. I, стр. 426).

Вот самая суть преступления. Это *убийство принципа*. Не три тысячи рублей тянули Раскольникова; странно сказать, между тем верно — что если бы эти деньги могли достаться ему через воровство, плутовство в карты или другое мелочное мошенничество, он едва ли бы на него решился. Его тянуло убить принцип, дозволить себе то, что наиболее запрещено. Теоретик не знал, что, убивая принцип, он вместе с тем покушается на самую жизнь своей души; но, убивши, он по страшным мукам своим понял, *какое* преступление он совершил.

Вот задачи, предложенные себе автором. Задачи огромные, имеющие несравненную важность. Глубочайшее извращение нравственного понимания и затем возвращение души к истинно человеческим чувствам и понятиям — вот общая тема, на которую написан роман г. Достоевского. В следующей статье мы постараемся рассмотреть, как автор справился с своею задачею. Теперь же заметим лишь то, что и без нас, конечно, угадывает читатель, именно, что г. Достоевский в таких размерах захватил свой предмет и такие стороны его изобразил особенно искусно, которые были наиболее по его силам и где, следовательно, всего ярче могла проявиться глубина и особенность его таланта.